

Б. Феноменология эроса

Любовь обращена к Другому, она нацелена на него в его слабости. Слабость не является здесь низшей ступенью какого-либо свойства, относительным недостатком определения, общего для «я» и для Другого. Предшествующая проявлению свойств, она характеризует самое инаковость. Любить значит тревожиться за другого, быть подмогой в его слабости. В этой слабости, как в лучах солнца, предстает Любимый, Любимая. Эпифания Любимого — женское начало — не добавляется к объекту и к Ты, заранее данным или встретившимся в среднем роде (единственный род, который признает формальная логика). Эпифания Любимой составляет единое целое с ее свойством нежности. Феномен нежности состоит в исключительной хрупкости, в незащищенности. Нежность проявляется на грани между бытием и небытием как мягкое тепло — когда бытие растворяется в сиянии, как «слабый румянец ланит» нимф в «Послеполуденном отдыхе Фавна», который «парит в воздухе, застывшем в глубоком сне», — лишаясь индивидуальных черт и освобождаясь вообще от собственной тяжести бытия, обессилевшая, мимолетная, уходя в себя в самой своей явленности [89]. В этом бегстве Другой остается Иным, чужим в мире, слишком грубом, слишком оскорбительном для него.

И однако эта чрезмерная хрупкость сама располагается на грани «бесцеремонного», «откровенного», на грани «лишенной смысла» грубой плотности, непомерной сверхматериальности. Превосходная степень лучше всяких метафор выражает пароксизмы материальности. Сверхматериальность не означает ни простого отсутствия человека среди нагромождения скал и песков какого-нибудь лунного пейзажа, ни материальности, переполнившей самое себя, зияющей сквозь свои распавшиеся формы, предстающей в руинах и язвах: она свидетельствует о выставленной напоказ наготы избыточного присутствия, идущего из некоей лад и, оставляющего за собой искренность лица, — одновременно оскверняющая и оскверненная, словно она нарушила некий тайный запрет. Скрытое по своему существу устремляется к свету, не становясь смыслом. Это не небытие, а то, чего еще нет. Речь идет не об ирреальности, открывающейся на пороге реальности в качестве возможности, которую можно постичь, и не о сокрытом, свидетельствующем о том, что с бытием произошел некий «гносеологический» казус. «Еще не быть» не означает ни того, ни другого; сокрытость — такова сущность этого отсутствия сущности. Подполье непристойностью своего существования свидетельствует о ночной жизни, которая не просто отлична от жизни дневной, будучи жизнью без дневного света: подполье не является простой интериорностью одинокой жизни в ее интимности, стремящейся выразить себя, чтобы избежать вытеснения. Оно взывает к целомудрию, которое само же осквернило, не сумев превзойти его. Тайное являет себя, не являясь, и это не потому, что оно явило бы себя либо наполовину, либо осторожно, либо смутно. Осквернение определяется именно одновременностью тайного и явного. Тайное являет себя двусмысленно. Но именно осквернение порождает двусмысленность — по существу своему эротическую, — а не наоборот. Целомудрие, непобедимое в любви, составляет ее пафос. Выставленная напоказ чувственная нагота всегда рискует быть уличенной в бесстыдстве; однако такого риска нет,

если речь идет об обычном, нейтральном восприятии наготы, которое, например, свойственно врачу при осмотре больного. То, каким образом эротическая нагота проявляет себя — предъявляет себя и существует, — дает представление об изначальных феноменах бесстыдства и осквернения. Открываемые ими моральные перспективы оказываются уже в особом измерении, которое полагает этот непомерный эксгибиционизм как порождение бытия.

Отметим, между прочим, что эта глубина тайного измерения нежности не позволяет ей быть отождествленной с ласковостью, на которую она тем не менее похожа. Противоречивое, двусмысленное единство этой хрупкости и этой основательности не-значимого, основательности более весомой, чем тяжесть бесформенной реальности, мы называем женственностью.

Перед лицом этой женственной слабости позиция любящего — не просто сострадание и не безучастность: он погружается в упоение лаской.

Ласка как прикосновение — это чувственность. Однако ласка превосходит чувственное. Речь идет не о том, что она ощущает больше, чем свой предмет, что она распространяется дальше того, на что способны другие чувства, или питается чем-то высшим, неземным, сохраняя при этом в своем отношении к ощущаемому неутоленное чувство голода, направленное на пищу, которая ему обещана и дается и которая усугубляет голод, — словно ласка поддерживается собственной неутоленностью. Особенность ласки в том, что она ничем не насыщается, она домогается того, что, постоянно освобождаясь от своей формы, устремляется навстречу будущему, — все еще не наступающему, к тому, что ускользает, как если бы его еще не выло. Ласка ищет, стремится. Это интенциональность не обнаружения, а поиска, движение к невидимому. В определенном смысле ласка выражает чувство любви, но страдает от того, что неспособна мы сказать это. Она жаждет выражения — и эта жажда постоянно усиливается. Так ласка рвется за свои пределы, за пределы сущего — даже будущего, которое, именно как сущее, уже стучится в двери бытия. Возбуждающее ее желание, удовлетворяясь, вновь возрождается, питаясь в некотором роде тем, чего еще нет, и свидетельствуя о том, что чистота женственного всегда существует незапятнанной. Дело не в том, что ласка стремится овладеть чуждой ей свободой, сделать ее своим объектом или вырвать у нее согласие. Ласка ищет, независимо от согласия или сопротивления этой свободы, то, чего еще нет, то, что «меньше, чем ничто», что находится по ту сторону будущего, — в изоляции и бездействии, ничем не напоминающем бездействие возможного, того, что можно было бы предвидеть. Осквернение, сопровождающее ласку, вполне соответствует необычности такого рода отсутствия. Это отсутствие иного рода, нежели пустота абстрактного небытия: отсутствие, соотносящееся с бытием, но соотносящееся по-своему, как если бы отсутствующие измерения его «будущего» не были будущим, оставаясь все на одном уровне, в одном виде. Предвосхищение улавливает возможное; то же, что ищет ласка, не находится в плане и в свете возможного. Телесное — нежное по сути и отвечающее ласке — это не тело как объект физиолога и не собственное тело субъекта, когда он говорит «я могу»; это и не тело-выражение, помощь в собственном проявлении, то есть лицо. В ласке, в этом, с одной стороны, все еще чувственном отношении, тело уже освобождается от самой своей формы, чтобы предстать в качестве эротической наготы. В телесном характере нежности тело лишается своего статуса сущего.

Любимая, ощущаемая, но в своей наготе остающаяся незапятнанной, по ту сторону объекта, лица и, следовательно, по ту сторону сущего, пребывает в чистоте. Женское, по сути своей одновременно и доступное насилию и неподвластное ему, «Вечно Женственное» — это девственность, или постоянно возобновляющая себя невинность, которая остается нетронутой даже в объятиях сладострастия в настоящем — будущем. Это не свобода в борьбе с поработителем, протестующая против своего овеществления и объективации: это — хрупкость на грани небытия, небытия, где пребывает не только то, что угасает и чего уже нет, но и то, чего еще нет. Непорочность остается неприкосновенной, умирая без убийства, обессиленная, укрываясь в собственном будущем, которое находится по ту сторону возможного, доступного предвидению. Рядом с ночью как анонимным шелестом il y a существует ночь эротики; за бессонной ночью скрывается ночь тайного, сокровенного, загадочного, убежище невинности, одновременно раскрываемое Эросом и отказывающее ему — тому, что иначе зовется осквернением.

Ласка не обращена ни к личности, ни к вещи. Она расточает себя в чем-то, что как бы развеивается в безличной мечте, без воли и даже без сопротивления: это пассивность, анонимность, почти животная или ребяческая, уже полностью относящаяся к смерти. Свойственная нежности воля пробивается сквозь собственное рассеивание, как если бы она была укоренена в животности, ничего не ведающей о своей смерти, погружена в обманчивую надежность стихии, принадлежала бы безмятежному детству. Вместе с тем это головокружительная глубина того, чего еще нет, того, чего нет, но подобное не-существование не имеет с бытием даже той связи, какую с ним имеют та или иная идея или проект; это — не-существование, которое ни в коем случае не претендует на изменение того, что есть. Ласка стремится к нежности, у которой нет более статуса «сущего», она вне «чисел и существ», у нее нет даже свойства сущего. Нежность означает способ, манеру держаться в *no man's land*, в промежутке между тем, что есть, и тем, чего-еще-нет. Способ, который даже не заявляет о себе как о значении, он никак не проявляет себя, он угасает и обессиливает, он — слабость Любимой, свидетельствующая об уязвимости и смертности.

Но именно потому, что нежность мимолетна и уязвима, субъект не устремляется в будущее возможного. То, чего-еще-нет, не находится в одном ряду с тем будущим, где все, что я могу осуществить, уже теснится, искрится в лучах света, требует моего предвидения, взывая к моим возможностям. То, чего-еще-нет, как раз не является возможным, находящимся просто далее других возможностей. Ласка не действует, ее нельзя понять исходя из возможного. Тайна, в которую она пытается проникнуть, не обогащает ее знанием: она разрушает отношение «я» с «я» и с «не-я». Аморфное «не-я» выносит «я» в абсолютное будущее, где оно исчезает, теряя свое значение субъекта. Ее «интенция» не устремлена более к свету, к разуму. Являясь целиком и полностью страстью, она совместима с пассивностью, страданием, изнеможением, свойственным нежности. Она умирает той же смертью, испытывает то же страдание. Будучи умилением, страданием без страдания, она утешается, находя удовольствие в страдании. Умиление — это жалость, потворствующая себе, удовольствие, страдание, ставшее счастьем, — сладострастие. В этом смысле чувственное наслаждение рождается уже в эротическом желании и остается желанием в каждое мгновение. Чувственное наслаждение не может удовлетворить желания, поскольку оно — само это желание. Вот почему чувственное наслаждение не просто нетерпеливо — оно само нетерпение, оно дышит нетерпением, задыхаясь в нем, захваченное концом врасплох,

поскольку не стремилось к концу.

Чувственное наслаждение, будучи осквернением, раскрывает сокровище как сокровище. Таким образом, это особое отношение осуществляется в условиях, которые с точки зрения формальной логики проистекают из противоречия: раскрытие не теряет при раскрытии своей тайны, сокровище не обнаруживает себя, тьма не рассеивается. Раскрытие-осквернение осуществляется в целомудрии, даже выглядя бесстыдством: раскрытое подполье не получает статуса раз-облаченного (dévoilé). Раскрыть здесь скорее означает совершить акт насилия, чем раскрыть тайну. Насилие не может оправиться от собственной дерзости. Стыд за осквернение заставляет опускать глаза, которые должны были бы пытливо всматриваться в то, что стало явным. Эротическая нагота говорит о том, чего нельзя высказать, но эта невысказанность неотделима от сообщения о ней — в отличие от того или иного таинственного объекта, недоступного выражению, который избегает пытающегося исказить его ясного высказывания. Здесь сам способ «высказывания» или «выражения» одновременно раскрывает и прячет, говорит и умалчивает, поддразнивает и провоцирует. «Говорение» — а не только то, что уже сказано, — двусмысленно. Двусмысленность возникает не между двумя смыслами слова, а в промежутке между слогом и отказом его произносить, между значимостью речи и не-значимостью сладострастия, прикрывающегося молчанием. Оскверняющее сладострастие слепо. Разоблачение, будучи незрячей интенциональностью, не проливает света: то, что оно раскрывает, не предстает в качестве значения и не высвечивает никаких горизонтов. Женственное — это лицо, устремленное за пределы лица. Лицо любимой не выдает тайны, которую оскверняет Эрос, — оно перестает выражать или, если угодно, оно выражает лишь этот отказ выражать, оно свидетельствует о конце дискурса и приличий, об этом резком, внезапном выключении из присутствия. В женском лице чистота выражения мутнеет из-за двусмысленности чувственного наслаждения. Выражение оборачивается непристойностью, близкой двусмысленности, которая уже почти ни о чем не говорит, превращая все в насмешку.

В этом смысле сладострастие — чистый опыт, не облакаемый ни в какие понятия, опыт, остающийся слепым. Осквернение — обнаружение скрытого как скрытого — создает модель бытия, не сводимого к интенциональности, обладающей объективирующей способностью даже на уровне практики, поскольку она не выходит за пределы «чисел и существ». Любовь не сводится к познанию, смешанному с элементами чувственного, которые открывали бы перед ней план непредвидимого бытия. Любовь ничего не познает, она не выражается в понятии, она ни к чему не приходит, у нее нет ни субъектно-объектной структуры, ни структуры отношения «ты — я». Эрос не осуществляет себя так, как осуществляет себя субъект, фиксирующий наличие какого-либо объекта, ему чуждо проецирование, устремление к возможному. Его движение заключается в том, чтобы выйти за пределы возможного.

Не-значимость эротической наготы не предшествует значению лица наподобие того, как неопределенность бесформенной материи предшествует художественным формам. Ее формы уже остались позади, она приходит из будущего — из того будущего, что находится по ту сторону будущего, где роятся возможности, ибо целомудренная нагота лица не растворяется в эротическом эксгибиционизме. Нескромность, в которой она таинственно и

молчаливо пребывает, заявляет о себе как раз через непомерность самой этой нескромности. Только бытие, обладающее чистосердечием лица, может «раскрыться» в незначимости чувственного.

Напомним моменты, связанные со значением. Первый факт значения рождается в лице. Не то, чтобы лицо обретало значение по отношению к чему-либо. Лицо значимо само по себе, его значение предшествует Sinngebung, осмысленное поведение появляется уже в его свете, оно распространяет свет там, где виден свет. Оно не требует объяснения, поскольку именно с него начинается любое объяснение. Иными словами, сообщество с Другим, которое кладет конец абсурдному шороху *il y a*, возникает не как творение Я, вкладывающего в это смысл. Чтобы феномен смысла, соответствующий интенции мышления, мог возникнуть, уже необходимо существовать для Другого — существовать, а не только творить. Бытие-для-другого не ориентирует ни на какую конечную цель, оно не содержит в себе предварительной позиции или оценки бог весть какой ценности. Быть-для-другого — значит быть добрым. Понятие Другой не содержит в себе никакого нового содержания по сравнению с понятием «я»: однако «бытие-для-другого» не является ни отношением между понятиями, совпадающими по смыслу, ни осмыслением понятия со стороны «я»; оно — моя доброта. Тот факт, что я, существуя для Другого, существую иначе, нежели существовал бы для себя, есть сама моральность. Она обволакивает со всех сторон мое познание Другого; она не выделяется из познания Другого путем оценки Другого в дополнение к изначальному познанию. Трансценденция как таковая — это «моральное сознание». Моральное сознание является осуществлением метафизики, если метафизика означает трансцендирование. В предыдущих текстах мы попытались описать эпифанию лица как источник экстериорности. Первофеномен значения совпадает с экстериорностью. Экстериорность и есть значение. Но только лицо является экстериорным в своей моральности. Лицо в этой эпифании сияет не как форма, облекшая содержание, не как образ, а как нагота первопричины, за которой ничего больше не стоит. Мертвое лицо превращается в форму, в посмертную маску, оно показывает себя вместо того, чтобы дать себя видеть, и именно поэтому не воспринимается больше как лицо.

Это же можно выразить и иначе: экстериорность определяет сущее как сущее, и значение лица зависит от важнейшего совпадения сущего и означающего. Значение не добавляется к сущему. Иметь значение равносильно не предъявлению себя в качестве знака, а выражению себя, то есть предъявлению себя в качестве личности. Символизм знака уже предполагает означение выражения, лицо. Сущий предъявляет себя главным образом в лице. Всякое тело, как и лицо, как рука или пожатие плечами, способно выражать. Первейшее значение сущего — представление себя самого лично или самовыражение, свойственный ему способ непрестанно выходить за пределы своего пластического образа — конкретно зарождается как попытка тотального отрицания убийства, как постоянное сопротивление убийству Другого в качестве Другого, в жестком отпоре со стороны этих беззащитных глаз, всего, что есть самого нежного, самого откровенного. Сущий как таковой рождается только в моральности. Язык, этот источник любого значения, берет начало в головокружении от бесконечности, которое охватывает нас перед прямоотой лица и которое делает убийство возможным и невозможным.

Заповедь «не убий», само значение лица, кажется, противоположно тому таинству, которое оскверняет Эрос и которое заявляет о себе в женственности, в нежности. В лице Другой выражает свое превосходство, достоинство и принадлежность к божественному, из которого он нисходит. В его мягкости проступают его сила и его право. Слабость женственности призывает сострадать тому, чего еще, в определенном смысле, нет, презирать того, кто, открыто демонстрируя свое бесстыдство, при этом не раскрывает себя, то есть профанирует себя.

Однако неуважение предполагает лицо. Природная стихия и вещи находятся вне пределов уважения и неуважения. Чтобы обнаженность могла достичь не-значимости похоти, необходимо, чтобы лицо уже было замечено. В женском лице соединяются этот свет и эта тень. Женское начало — это лицо, где тень берет верх над светом, побеждает его. Отношение — внешне асоциальное — эроса связано, пусть негативным образом, с социальным. В таком изменении лица силой женственности — в этом искажении лица — то, что не-значимо, обретается в значимости лица. Это присутствие не-значащего в значимости лица, или то отношение не-значащего к значимости, — где целомудрие и пристойность лица находятся на грани пока еще отвергаемой непристойности, которая, однако, уже близится и расточает посулы, — является подлинным событием женской красоты, того важнейшего значения, которое красота обретает в женственности, но которое художник превращает в «изящество, лишенное силы тяготения», манипулируя холодным материалом краски или камня, где красота предстанет в виде безмятежного присутствия, свободного полета, беспричинного, не имеющего основ существования. Прекрасное в искусстве искажает красоту женского лица. Волнующую глубину будущего, того, что «меньше, чем ничто» (а отнюдь не мира), все то, о чем возвещает женская красота и что она прячет, — искусство подменяет образом. Оно являет нам прекрасную форму, в полете сведенную к самой себе и лишенную глубины. Любое произведение искусства — это картина или статуя, застывшие в мгновении или в его бесконечном повторении. Поэзия подменяет жизнь женщины ритмом. Прекрасное становится формой, облекающей равнодушную материю, а не заключающей в себе тайну.

Таким образом, эротическая нагота есть как бы значение наоборот, значение, не имеющее значения, ясность, обратившаяся в зной, а затем в ночь, выражение, переставшее выражать себя, выражающее свое отречение от выражения и от слова, выражение, погрузившееся в двусмысленность тишины, в слово, говорящее не о смысле, а о выставленности напоказ. Именно в этом состоит похотливость эротической наготы — смех, раздающийся в шекспировских шабашах ведьм, полный полунамёков, непристойностей речи; это абсолютное отсутствие серьезного, всякой возможности разговора; смех по поводу «двусмысленных приключений», когда механизм смеха не просто следует формальным условиям комического, какие, в частности, выявил Бергсон в своей работе «Смех». К этому добавляется содержание, которое отсылает нас к миру, где серьезное отсутствует абсолютно. Любимая противостоит мне не как воля, вступающая в борьбу с моей волей или подчиняющаяся ей, а, напротив, как безответственное животное начало, неспособное произносить искренние слова. Любимая, оказавшись на уровне не знающего ответственности детства, — эта кокетливая головка, эта юность, эта незамысловатая, «глуповатая» жизнь, — лишилась своего статуса личности. Лицо теряет определенность и своей безликостью, невыразительностью и двусмысленностью напоминает животное. Так

разыгрываются отношения с другим — с другим играют, как с молодым животным.

«Не-значащее» похоти не идентично тупому безразличию материи. Будучи обратной стороной выражения того, что утратило выразительность, оно тем самым отсылает к лицу. Существо, представляющее как самоидентичное в собственном лице, утрачивает свое значение по отношению к поруганной тайне и становится двусмысленным. Двусмысленность составляет эпифанию женского начала — одновременно как собеседника, соучастника и исключительно умного учителя, который так часто занимал господствующее положение в мужской цивилизации, где к женщине надлежало относиться в соответствии с незыблемыми правилами приобщенного к культуре общества. Лицо — сама откровенность и искренность — в своей женской явленности полно намеков, недомолвок. Оно исподтишка смеется над собственным выражением, не имея в виду никакого определенного смысла, посылая намеки в пустоту, свидетельствуя о существовании того, что меньше, чем ничто.

Мощь этого откровения говорит о силе отсутствия, о власти того, чего еще нет, того, что меньше, чем ничто, — дерзко вырванного из его целомудрия, из его сущности как сокрытого. то, чего еще нет, является более отдаленным, чем будущее; оно — временное и свидетельствует о ступенях «ничто». Итак, Эрос — это прорыв за пределы любого проекта, любой энергии, абсолютная нескромность, профанация, а не раскрытие того, что уже существует во всем его блеске и значении. Эрос, таким образом, выходит за пределы лица. Не то, чтобы лицо за своей благопристойностью скрывало еще что-то, маску другого лица. Непристойность эротической наготы отягчает лицо, с чудовищной силой давит на него в тени не-смысла, проецируемого на него, — не потому, что за ним должно появиться другое лицо, а потому, что сокрытое вырывается из его целомудренного состояния. Сокрытое как таковое, а не сокрытое сущее или возможность сущего; сокрытое, то, чего еще нет, следовательно, полное отсутствие сущности. Любовь не ведет ни прямыми, ни окольными путями к Ты. Она идет в другом направлении, не в том, где можно повстречать Ты. Сокрытое — никогда не сокрытое достаточно — находится по ту сторону личного, оно — как бы его обратная сторона, где свет преломляется; понятие, внешнее по отношению к игре бытия и небытия, оно — по ту сторону возможного, поскольку абсолютно неуловимо. Его способ пребывания по ту сторону возможного проявляется в не-социальном характере общения влюбленных, в их отказе заявить о себе в пылу самозабвения, в отказе, который составляет суть сладострастия, питающегося собственным голодом и, в своем головокружении, приближающегося к сокрытому, или к женственному, к не-личностному, в котором, однако, личностное не утрачивает себя.

Отношение, устанавливающееся между возлюбленными в чувственном наслаждении, не поддающееся обобщению, в корне противоположно социальному отношению. Оно исключает третьего, оно — сама интимность, одиночество двоих, закрытый, по существу своему не-публичный, союз. Женское начало — это Другой, чуждый социальности, член сообщества двоих, общества сокровенного, не прибегающего к помощи языка. Следовало бы описать характер этой интимности. Ибо беспримерное отношение, которое сладострастие поддерживает с не-значимым, образует совокупность, не сводящуюся к одному нет, — оно обладает позитивными чертами, с помощью которых, если так можно выразиться, определяется будущее и то, чего еще нет (и что не является просто-напросто сущим в его ипостаси возможного).

Невозможность сведения чувственного наслаждения к социальному феномену — не-значимость, где оно зарождается, не-значимость, которая проявляет себя в непристойности речи, стремящейся выразить сладострастие, — изолирует влюбленных, как если бы кроме них в мире никого не существовало. Это — одиночество, которое не только отвергает мир и забывает о нем. Взаимодействие в сладострастии того, кто испытывает чувство, и того, по отношению к кому испытывается чувство, огораживает, замыкает, скрепляет сообщество двоих. Не-социальность чувственного наслаждения — это, в позитивном плане, сообщество испытывающего чувство и того, по отношению к кому чувство испытывается; другой здесь не только тот, по отношению к кому испытывают чувство, — в нем тот, кто испытывает чувство, утверждает себя, как если бы одно и то же чувство было субстанциально общим для меня и для другого: однако здесь нет ничего общего с ситуацией, когда два наблюдателя имеют перед глазами один и тот же пейзаж или два мыслителя обладают общей идеей. Здесь общность не опосредуется объективно идентичным содержанием; тем более она несводима к аналогичности чувств. Общность следует из идентичности чувства. Чувственное наслаждение, будучи отношением любви «отданной» к любви «полученной», любовью любви, не является вторичным чувством, наподобие рефлексии: оно непосредственно, как спонтанное сознание. Будучи сокровенным, оно вместе с тем имеет интересубъективную структуру и не упрощается до степени единого сознания. В чувственном наслаждении Другой есть «я» и в то же время он отделен от «я». Отделенность Другого в лоне этого сообщества, основанного на чувстве, составляет специфическую черту сладострастия. Сладострастный характер чувственного наслаждения не есть укрощенная, объективно овеществленная свобода Другого; это — непокоренная свобода Другого, которую я ни в коем случае не желаю объективировать. Однако эта желанная сладострастная свобода обнаруживает себя не в ясности его лица, а в сумраке, словно в порочности, либо в том будущем, которое держится в обнаружении потаенным и в силу этого неизбежно является профанацией. Ничто не отстоит от Эроса так далеко, как обладание. Обладая Другим, я обладаю им в той мере, в какой он обладает мной; здесь я одновременно и господин, и раб. Чувственное наслаждение, казалось бы, угасает в обладании. Однако, с другой стороны, безличный характер сладострастия не позволяет рассматривать отношения между любовниками как взаимодополнение. Чувственное наслаждение имеет целью не другого, а его наслаждение, оно — наслаждение наслаждения, любовь любви другого. Поэтому любовь не представляет собой частный случай дружбы. Любовь и дружба не просто ощущаются по-разному. У них разные объекты притяжения. Дружба направлена на другого, любовь же устремлена к тому, кто не имеет структуры сущего, кому принадлежит будущее, кому предстоит явиться на свет. Я люблю, если только другой любит меня, не потому, что я нуждаюсь в признании со стороны Другого, а потому, что мое сладострастие наслаждается его сладострастием, и потому, что в этом единении, не схожем с идентификацией, в этой транссубстантивации Самотождественный и Другой не смешиваются, но именно независимо от какого бы то ни было проекта — независимо от какого-либо осознанного, продуманного намерения — дают начало новой жизни.

Если любить значит любить любовь, какую мне дает Любимая, то это значит также любить себя в любви и тем самым возвращаться к себе. Любовь в своем порыве не лишена двусмысленности: она в себе самой находит удовольствие, она — наслаждение и эгоизм двоих. Но при лом она в удовольствии удаляется от себя, она головокружительно парит над бездной инаковости, которую никакой смысл более не может разъяснить; эта бездна

выставлена напоказ, профанирована. Отношение к ребенку — желание иметь ребенка, который был бы одновременно и другим и мной самим, — вырисовывается уже в чувственном влечении и осуществляется в самом ребенке (так может осуществиться Желание, не угасающее и не ослабевающее при его удовлетворении). Мы сталкиваемся здесь с новой категорией: с тем, что находится за порогом бытия, что меньше, чем ничто, что эрос вырывает из недр своей негативности и подвергает осквернению. Речь идет о небытии, отличном от небытия тревоги, о небытии будущего, сокрытого в таинстве того, что меньше, чем ничто.

Версия #1

Зверобой создал 2 декабря 2025 20:35:16

Зверобой обновил 2 декабря 2025 20:35:37